# 213.

**М. А. Протасовой**

*20 <апреля 1815 г. Дерпт>*

20 <апреля>. Мне не дóлжно оставаться в Дерпте1 — это будет и моею, и Машиною погибелью. Подале от них — в этом слове и свобода, и добродетель. Милая Маша, решившись всем пожертвовать, я думал, что сделаюсь точно твоим братом, — счастливить тебя, быть с тобою искренним, делиться с тобой мыслями и чувствами было бы для меня большим вознаграждением! Я привык бы к этому новому положению, разумеется, не вдруг, а мало-помалу. Я чувствую,

что для меня со временем было бы возможно все свои надежды передать тебе и для себя оставить одну только радостную мысль, что я способствовал к твоему счастью. Делая свое пожертвование, я думал, что поступаю согласно с тобою, что и тебе так же, как и мне, легко будет на него решиться; в этом уверил меня и первый твой ответ на мое письмо, и то, что ты написала на мое письмо к маменьке2. Думая, что ты согласна на всё, что ты желаешь и прежде этого желала, мне легче было забыть о себе совершенно — теперь вижу, что тебе это так же трудно, как и мне! Это удвоивает для меня собственную мою тягость. Если бы <мы> могли жить непринужденно друг с другом — я мог бы надеяться и на себя, и на тебя. Возвратить спокойствие твоему сердцу было бы делом дружбы: мы бы сделали друг друга счастливыми. Мы бы согласили свои мысли и чувства с тою должно-

стью, которую взяли на себя, — словом, мы бы были добродетельны *вместе*. Но порознь это невозможно. Что ни делай над собою, ничто не устоит против подозрения. Меня угощают приятною наружностью — а в сердце, из которого, как из бездны, ничто не выходит наружу, всё старое. Это *старое* невольно обнаруживается в некоторых словах, к которым привязаться нельзя, но которые показывают ясно всё то, что служит им основанием. Хотят от меня братских чувств, а их ко мне не имеют — как же я могу иметь, принужден будучи еще победить такое чувство, которое так долго было им противно, которое мне дорого, которого не считаю и никогда не сочту преступным. Мне говорят, что хотят и считают нужным делать мне напоминание, то есть держать над моею головою розгу, чтобы я как-нибудь не забылся, — самое верное средство заставить меня не забыться, а всё свободно нарушить. Против любви и доверенности я не сделаю шагу.

Унизительное подозрение я сам готов буду растоптать. Между тем Воейков из сообщника сделался шпионом — он за нами присматривает; что услышит

от меня искреннего, то пересказывает, чтобы там показать, что он хранитель семейного спокойствия! Но пересказывает не при мне, а наедине, и это видно только по тому действию, которое имеет оно на обращение со мною. Два дня я брат, а десять дней я враг. Когда Воейкову угодно шутить со мною своим дурацким образом, то сердятся, что я отвечаю ему в его тоне, ему говорят при мне, зачем он подвергает себя моим ответам. Когда же скажу ему просто, чтобы он перестал говорить глупости, которые скучны и неприятны, то меня же обвинят в капризе, потому что всё это пересказано наедине и своим образом. Одним словом, тьма мелочей, которым нет имени, которые для них незаметны, но все вместе или одна за другою действуют сильно и разрушают всякую силу и бодрость. Нечувствительно дойдет до того, что наша решимость пропадет, что мы сами себе изменим — причины будут существовать, но кто их заметит! Вина будет явная, основанная на документах3: слово дано, а по словам Воейкова Е<катерина> А<фанасьевна> всё со своей стороны сделала, что она довела до вины, того не будет видно. Опять нас во всём осудят, опять мне Воейков,

с своим обыкновенным бесстыдством, скажет, что я *обманул,* — что ж буду отвечать! Эти люди так же строги, и так же слепы, и так же нечувствительны, как закон уголовный, который осуждает по документам и не входит в разбор тайных и самых сильных причин. Они же судьи в своем деле — чтобы оправдать, надобно обвинить себя. Для этого не имеют они нужных качеств. При таком унизительном принуждении можно ли отвечать за себя! А если еще принужден будешь сам себя признать виноватым, что останется в утешение! Извне тяжелые обстоятельства; а в самом себе мрачное чувство! Одним словом, погибель всего, что есть теперь наше счастье! Нет, милая Маша, наконец, воспользуемся многократным опытом и будем недоверчивы к обольщению минуты! Скажем себе решительно, что от них ожидать ничего невозможно, и предупредим обвинение собственного сердца. Ты говоришь мне: называй чаще ее сестрою! Милая, ты написала это не подумавши. Ты даешь мне роль Воейкова. Я могу сказать святое слово *сестра* не иначе как с тем только чувством, которое с ним неразлучно. Употреблять это имя, как одно только средство, так, как некогда Воейков употреблял *Религия*4, как средство получить то, что мне нужно, — я не могу, если бы и хотел. Сказать твоей матери *сестра* есть для меня чувствовать, что я имею всё счастье брата, что она мне верит, что она мне вверяет и тебя, что я имею с тобою всё счастье друга и брата.

Есть ли здесь что-нибудь на это похожее? всё напротив! Как же называть ее сестрою? Это было бы святотатство! Если же ей нужны одни слова, то мне ими довольствоваться невозможно. На одной из страниц Делилевых садов, исписанных замечаниями Воейкова5, стоит: *16 марта. Приезд Жуковского в Дерпт;* на другой: *от десятого февраля до двадцатого марта был совершенно счастлив. Воейков*, за этим следуют подписи маменькина: *и я*, Сашина: *и Саша*, и твоя: *и Мария*. Я выставил карандашом свое NB. Эти две надписи служат новым доказательством, что здесь всё одни слова, всё одна наружность. Будь только *вид*, до *дела* нужды нет. Сердце у меня стеснилось, когда я всё это прочитал. Воейков подписал свое имя с искренним чувством. Надобно только понять это истинное счастье, чтобы поверить, что он не лгал, и чтобы ему не позавидовать. Для своих физических нужд он всё имеет; а сердце его нужды не знает — следов<ательно> у него есть всё. На лекциях были генералы6; их же никто не понимает, и все верят, что они хороши; и прочее и прочее. Маменька, увидя подпись, ей поверила, и как же не поверить, когда стоит на бумаге: *совершенно счастлив*. Это трогает душу; Саша, верно, подумала о тебе, верно, в душе у ней было такое

чувство, которое не совсем согласно было с тем, что пишет рука, но как же было не написать, своим же собственным положением она довольна! У ней есть душа прекрасная, которою она всё украшает! Но я уверен, что ей было несколько и грустно. Но ты, Маша, с каким чувством это написала! У тебя всё взято, ты же должна говорить: я счастлива совершенно, и те, от которых зависит твоя судьба, этим довольствуются, этому верят и радуются твоим счастьем, в котором не может и не должно уже быть недостатка, потому что ты написала: *я счастлива*

*совершенно*! Вот семья, составленная из четырех человек, из которых каждому всё известно (или, по крайней мере, должно быть известно), что происходит в душе у другого, и которые играют друг перед другом комедию, один против воли, а другие потому, что иного и делать не умеют, и между тем еще сами себя хотят уверить, что это не комедия, а что-то в самом деле. И таким это будет вечно. Что в таком кругу притворчивом сделает простодушие! Оно вечно потеряет, вечно будет иметь наружность несправедливости. Им будут пользоваться,

чтобы над ним же торжествовать. Все эти записки, разметанные по книгам, которые всякий нечаянно видит и прочитать может, имеют что-то весьма подозрительное. Хочется другим открыть свое чувство и между тем остаться в стороне, чтобы возбудить бóльшую к нему доверенность.

Помнишь ли, что написано было на Геснере7 и к чему я подписал карандашом: *всё* *притворство*! Там стояло: *несчастье и опыт Авдотьи Николаевны будут счастьем и опытом для Саши; после матушки, она ей лучший ментор, нежели я и Маша*. Тогда это меня поразило не потому, чтобы я знал уже всю связь его с Авд<отьей> Ник<олаевной>8, но потому, что я знал его образ мыслей насчет маменьки9. Если бы это написано было для себя одного, то он не поставил бы *после матушки*, о которой он поговаривал не с большим уважением, — итак, это было написано для того, чтобы матушка прочитала, и для того, чтобы и она

согласилась, что А<вдотья> Ник<олаевна> есть обреченный для Саши ментор. Но что же сказать теперь, когда мы знаем, что такое Авд<отья> Никол<аевна>, когда знаем их бывшую связь и когда видели, с каким презрением этот *прежний*

*ангел, этот необходимый ментор* забыт. Что сказать о его сердце, когда он так равнодушен к той, которую обожал до женитьбы. Это не значит, что надобно бы было сохранить связь. Но спрашиваю, в чем состояла эта связь. Кто был ангелом в одно время, тот будет ли чертом в другое. Теперешнее презрение служит ужасным обвинением прежнему обожанию. Но дело не о том. Эти записки не иное что, как обман, и самый тонкий. Обман во всём смысле этого слова, то

есть *притворство с целью, для чего-нибудь*. Тогда это было написано *для того*,

что он имел намерение переселить ее к нам в дом. И сколько мелких обстоятельств, обнаруживающих характер, приходят мне теперь на память. Помнишь ли, как он описывал ту радость, *с какою приняла А<вдотья> Н<иколаевна>* *его известие о помолвке и как все в Рязани*10 *дивились этой радости, которая есть самое сильное доказательство, что слухи ложные*. Можно ли говорить такие вещи свободно? с видом искренности? А когда я сказал ему, что Мерзляков говорил мне о его связи с Ав<дотьей> Ник<олаевной>, что он отвечал? *Мерзляков подлец, и клеветник, и пьяница!*11 То же, что теперь писал в письме к Каченовскому12 и чем радовалась так маменька! Чтобы поддержать свою ложь, он клеветал на своего самого короткого друга, именно в ту минуту, когда называл его *клеветником*. Имеет ли над сердцем его какую-нибудь власть голос совести! В этом ответе для меня две ужасные вещи: решительное, холодное притворство и желание только *казаться*, не заботясь о том, чтоб *быть*, и другое: готовность пожертвовать всем святым для достижения своей цели. Тогда я имел безумство поверить. Но теперь, когда прочитал то же самое в письме к Каченовскому, сердце поворотилось. И на это письмо сделать можно много замечаний. Но оставим грязь и возвратимся к прекрасному. Милая Маша, скажем решительно друг другу, что наше прекрасное в разлуке — нам не дадут быть добродетельными, и мы даром отдадим всё свое лучшее. В слове разлука — и свобода, и добродетель, и всё нам возможное счастье. Что выигрываем мы, живучи вместе, — только то, что делает жестокою разлуку. Неужели значит быть *вместе —* видеть друг друга и не иметь способа сказать друг другу искреннего слова; значит ли быть вместе — страдать, не облегчая друг другу страдания? Значит ли быть вместе — затруднять друг для друга исполнение обязанностей? Значит ли быть вместе — напоминать только друг другу своим присутствием, что мы во всём разлучены и что для нас ничего общего никогда не будет! Милая, не бойся этого слова: разлука! Оно благодетельное теперь для нас слово! Оно мне, по крайней мере, всё *мое* возвращает! Спрячемся в глубину своего сердца, там наше *всё* — спокойствие, верная дружба, свобода чувствовать, желание прекрасного, твердость в достижении к нему, энтузиазм, доверенность друг к другу и к самим себе. *Вместе* мы не воспользуемся никаким средством к прекрасному — у нас оторвут руки, если мы их к нему протянем. *Розно* — мы свободны и жизнь совершенно наша. Надобно только переменить об ней понятия. Я когда-то написал: *счастье не состоит из удовольствий простых, но из удовольствий с воспоминаниями*, и эти удовольствия сравнил я с фонарями, зажженными ночью на улице; между ними есть промежутки, но эти промежутки освещенные, и вся улица *светла*, хотя не вся составлена из света13. Так и счастье жизни. Удовольствие — фонарь, зажженный на дороге жизни, воспоминание —

свет, а счастье — ряд этих прекрасных воспоминаний, которые всю жизнь озаряют. Вот тебе истолкование Дуняшиной печати14. Надежда — пустое слово. Оно прекрасно только для неопытности, которой жизнь неизвестна. Тогда вся прелесть этого слова заключена в его непостижимости. Но что же надежда — беспокойное, иногда сладостное ожидание чего-то в будущем. Такое ожидание более вредно, нежели полезно. Оно уничтожает настоящее. Если оно весело, то делает к нему равнодушным; если печально, то отравляет его. Позабудем о будущем, чтобы жить так, как дóлжно. Милый друг, пользуйся беззаботно настоящею минутою, ибо одна только она есть средство к прекрасному! Зажигай свой фонарь, не заботясь о тех, которые даст Провидение зажечь после; в свое время ты оглянешься, и за тобою будет прекрасная, светлая дорога! Между настоящею минутою и неизвестным пределом жизни поместим не надежду, а Провидение. Переходя от одной хорошей минуты к другой, нечувствительно дойдем до этого предела, за которым верное, прекрасное будущее! Об нем думать можно без волнения — оно не мешает жизни! Но здешнее будущее есть настоящий враг всего прекрасного! Что в нем? Приходит ли оно когда-нибудь таким, каким мы себе его воображаем! На что же ему верить и об нем заботиться! А прошедшее пускай идет с нами рядом! Il ne faut pas s’avancer dans la vie, en détournant la tête, comme nous écrit Annette[[1]](#footnote-2)15. Надобно сделать из прошедшего своего товарища. *Для сердца прошедшее вечно*16, а наше с тобою прошедшее есть самый необходимый друг наш! С ним только будет для нас и настоящее прелестно. Уверяю тебя,

что у меня теперь на душе так ясно, как никогда не бывало. Мне везде будет хорошо: и в Петербурге, и в Сибири, и в тюрьме, только не здесь, где не дадут мне ничего доброго исполнить и где я только разрушу твое спокойствие. Безумство воображать, что человек зависит от места. Петербург полон людьми, которые меня знают, и там есть, верно, Эверсы17; а Тургенев по своему сердцу мой верный товарищ! Нет, друг милый, я буду работать с энтузиазмом — во всякую минуту жизни можно быть *человеком*. Здесь только эти минуты, которые можно употребить на добро, будут посвящены только на то, как бы предостеречь себя от зла! И что же, если и то не удастся!.. Впрочем, если петербургская жизнь не будет мне сносна — есть Долбино и Мишенское! Ты хотела мне закричать вслед: *поезжай в Долбино*! Может быть, и послушаюсь. Где бы я ни был, везде у меня будет хорошее настоящее и свобода им воспользоваться; прошедшего никто у меня не отымет — а будущего не надобно. Одно только условие! Не дай собою пожертвовать! Чтобы твой друг, твой брат не мог никогда упрекнуть тебя, что ты добровольно истребила всё его счастье! Напротив, если будешь счастлива каким бы то ни было образом, то это будет мне же наградою! Нас не разлучит ничто! Быть счастливою для тебя — значит пользоваться тем, чего ты достойна, и быть его достойною. Разве это может разорвать твой союз со мною.

1. Не нужно идти по жизни отвернувшись, как нам пишет Аннета (*франц*.). [↑](#footnote-ref-2)